



Серебряная метель

Большая книга
рождественских произведений

Рождественский подарок

Коллектив авторов

Серебряная метель.

Большая книга

рождественских произведений

«Никея»

2018

УДК 82-82
ББК 84(0)

Коллектив авторов

Серебряная метель. Большая книга рождественских произведений
/ Коллектив авторов — «Никея», 2018 — (Рождественский
подарок)

ISBN 978-5-91761-774-9

В этой красивой книге собраны повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова. Чтение духовной классики, размышление о ней, обсуждение прочитанного в семье и с близкими достойно заполнит святые рождественские вечера, создаст и поддержит праздничное настроение, укрепит чувство семейного очага. А это такие прекрасные сердечные чувства, что ими приятно поделиться, ведь эта книга действительно хороший подарок.

УДК 82-82
ББК 84(0)

ISBN 978-5-91761-774-9

© Коллектив авторов, 2018
© Никея, 2018

Содержание

От издательства	6
Василий Никифоров-Волгин (1901–1941)	8
Леонид Андреев (1871–1919)	11
Генрих Гейне	19
Александр Федоров-Давыдов (1875–1936)	21
Морис Карем (1899–1978)	24
Анатоль Франс (1844–1924)	27
Изабелла Гриневская (1854–1942)	30
Зинаида Гиппиус	31
Николай Телешов (1867–1957)	33
Николай Заболоцкий	39
Саша Чёрный	41
Николай Вагнер (1829–1907)	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Серебряная метель

Большая книга

рождественских произведений

© Издательский дом «Никея», 2015

© ООО ТД «Никея», 2018

* * *

От издательства

В этой красивой книге собраны повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова.

Родоначальником жанра рождественского рассказа считается Диккенс: «Рождественская песнь в прозе» вышла в Англии к Рождеству 1843 года и была настолько популярна в Европе и России, что породила череду подражаний. Русские писатели живо восприняли опыт Диккенса, ведь культура России – часть христианской цивилизации. Рождественский, или святочный, рассказ стал заметным явлением русской литературной и даже общественной жизни.

Достоевский писал, что Рождество, пожалуй, самый «детский» из всех христианских праздников, потому что Спаситель пришел в мир Младенцем: не в царских одеждах и не в сиянии славы, а смиренно и кротко появился Он на свет. Младенец Иисус, рожденный в пещере и положенный в кормушку для скота, воспринимался как защитник всех обездоленных, бедняков и, в первую очередь, детей. Потому так много рождественских рассказов посвящено детям.

В стремлении порадовать и осчастливить ребенка в праздник Рождества литературные герои и сами преобразуются, мечтая о доброй и радостной жизни, о милосердном отношении друг к другу. Такие рассказы могут поселить в домах читателей праздничную атмосферу, отвлечь от житейских забот, напомнить о помощи страждущим.

Рождественские праздники становятся, по выражению Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия, примирения и всеобщей любви. О «чувстве домашнего очага», которое дарит праздник Рождества Христова, вспоминал и Александр Блок.

Традиционный европейский рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, добро неизменно торжествует над злом, благодаря вмешательству чудесных сил. В русской литературной традиции центральное место заняли переживания героя и чудо его внутреннего преобразования. Русские писатели затрагивают множество социальных проблем и порой неожиданных для Рождества тем, как например, в рассказе Николая Вагнера «Новый год». Душевный порыв и попытку героя стать лучше, добрее, проявить братскую любовь к нищему очень тонко и иронично изобразил писатель Лазарь Кармен в рассказе «Под Рождество».

Часто рождественские рассказы не заканчиваются с финальной точкой, и многое из жизни героев остается «за кадром». Это превращает читателя в соавтора произведения и заставляет его размышлять: а что же дальше? – как например, в рассказе Чехова «Ванька».

Праздничное рождественское застолье, даже самое скромное, привлекает внимание писателей возможностью раскрыть смыслы куда более важные и глубокие, чем гастрономические, как например, в рассказах «Рождество на Соловках» Бориса Ширяева (о праздновании Рождества заключенными ГУЛАГа), «Рождество в Москве» Ивана Шмелева (о тоске в эмиграции по утраченной родине) или «Портвейн в бурю» Джорджа Макдоналда (о тихом рождественском вечере с бесценными семейными воспоминаниями).

Литература не забывала и о главном, духовном смысле праздника Рождества Христова:

Приклонил небеса и сошел к нам Всевышний.
Приклонивши колена, поднимемся на высоту.
Соединим три в одно – ум, душу и сердце —
И прославим Единородное Слово,
ставшее ради нас плотью.

Чтение духовной классики, размышление о ней, обсуждение прочитанного в семье и с близкими достойно заполнит святые рождественские вечера. Уютно в теплом доме читать рассказы о Рождестве, которое, по воспоминаниям Никифорова-Волгина, «обдает тебя снежной

пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всеобщей „Христос рождается, славите“ и снится по ночам в виде веселой серебряной метели».

Василий Никифоров-Волгин (1901–1941) Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

– Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, – подумал я, – посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю... За арифметику как пить дать влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – ее тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

– Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

– Пока нет, но скоро услышу!

– Когда же?

– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

– Ты чего губы надул? – спросил Гришка.

Я скопил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

– А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампы перед иконами и впустят Его...

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег... как бы святой! Ветер, шумящий в березах, – тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те... По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово – «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали

в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шудды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого – одна заметь да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку... Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь Пресущественного рождает», и вместо «волви же со звездой путешествуют» пропел: «волки со звездой путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал:

– Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездой путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях: «Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было даже холодно!»

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.

– Ничего. Пальцы я отморозил.

– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал Рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, – отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

– Я видел на небе Рождественскую звезду... Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

– Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

– После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго... Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и отдельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

– «Услышите до последних земли, яко с нами Бог! – гремел хор всеми лучшими в городе голосами. – Могуции, покоряйтесь: яко с нами Бог... Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы: яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с нами Бог... И мира Его несть предела: яко с нами Бог!»

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел одноклассник мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:

– Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

В этот осветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

1937

Леонид Андреев (1871–1919) Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночничаете, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносишь? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики. Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феокиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феокиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феокиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе под-

ражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, непередаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятого восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие

на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша настаивательно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокоей борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, непередаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую,

пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека – сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким Божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она тебе дала? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь:

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала

печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

1899

Генрих Гейне (1797–1856)

Божья елка

Ярко звездными лучами
Блещет неба синева.
– Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?

Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?

– Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.

Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —
Для людей – благоволенье,
Мир и правда – для земли.

«Три светлых царя из восточной страны...»

Три светлых царя из восточной страны
Стучались у всяких домишек,
Справлялись: как пройти в Вифлеем?
У девочек всех, у мальчишек.

Ни старый, ни малый не мог рассказать,
Цари прошли все страны;
Любовным лучом золотая звезда
В пути разгоняла туманы.

Над домом Иосифа встала звезда,
Они туда постучали;
Мычал бычок, кричало дитя,
Три светлых царя распевали.

*Перевод Александра Блока
1909*

Александр Федоров-Давыдов (1875–1936)

Хаврошина елка

Святочный рассказ

1

На самом краю деревни Деурина стояла избенка солдатской вдовы Арины Паниной. Незадолго до Рождества, этак дней за пять, приехала к Арине из Питера старшая сестра Варвара, с которой она лет десять не видалась.

Обрадовалась сестре Арина, расцеловались сестры, и пошли у них разговоры без конца.

Служила Варвара десять лет в няньках у богатых господ; а как барчата их подросли, она и отошла от места. Жила Варвара у господ, как сыр в масле каталась: еда хорошая, на праздники подарки дарят: либо шубенку, либо платье, либо деньгами. Всего было!.. Вон два сундука всяким добром набиты, да триста рублей у нее на хранении лежат... Вот поживет тетка Варвара у сестрицы, в монастырь деньги внесет, и дадут ей келейку, чтобы дожить ей тихо, мирно и беспечно...

И видит Арина – сидит перед ней Варвара барыня-барыней: платье шерстяное, шубка на лисьем меху, платок ковровый на плечи накинута; лицо у нее белое, полное, руки холеные. А посмотрела Арина вокруг себя – и сердце у нее от боли зануло: всюду-то беднота, нужда горькая да голод!..

2

А вечером, после ужина, и стала тетка Варвара про житье-бытье городское сказывать. Чисто мед с молоком слова у нее текли. Хавроша, дочь Арины, и про сон забыла – наострила уши, слово боится пропустить...

Арина слушала молча, и все ее досада да зависть разбирали. Уж больно им-то с Хаврошей тяжело жилось! И одеться не во что, и иной раз хлеба перекусить не приходится...

– Вот, – рассказывала тетка Варвара, – сейчас Рождество наступает. И пойдет по всему городу веселье, пляс – сердце радуется. А для ребят елки там устраивают!..

И пошла Варвара сказывать, как купят господ елку, обрядят ее конфетками, пряниками, игрушками разными, яблоками да орехами – и детям ее подарят. А дети свечи на ней зажгут и давай вокруг елки плясать да сласти рвать.

Словно зачарованная слушала Хавроша тетку Варвару. А Арина и говорит:

– То-то деньги у господ без глаз: куда не швыряют!

Тетка Варвара даже обиделась за господ:

– Что ж, сестрица, – не всем же по-свински жить, вроде вас!.. Тоже и себя, и детей потешить охота!.. А что деньги зря бросают, это точно... Вон наемни елку пошли покупать – приступу к елкам нет: либо три рубля, либо пять, а то и десять рублей отдают... Вот что!..

– Десять целковых?.. – Арину даже в жар бросило. – На десять-то целковых мы бы полгода беспечно жить могли.

Хавроша так и заснула в радужных мечтах. А на утро Арина и сказала Хавроше:

– Сходи, доченька, на село, к учительше Клавдии Васильевне: поклонись от меня, скажи, разнедужилась-де я вовсе, не даст ли мучки с четвертку, да масла, да полтинник – праздник

встретить. Скажи, у сестры просила – и слышать не хочет: какие, говорит, у меня деньги?.. Да ты, Хавроша, у учительши и переночуй, а ночью не ходи...

Живо собралась Хавроша: материнскую кацавейку надела, платком обмоталась, валенки обула. Потом под лавку сунулась и отцовский топор разыскала... Заткнула его за платок назади и пошла в путь-дорогу... Хавроша-то себе на уме... Недаром она с вечера теткыны росказни слушала...

3

Лютый мороз трещит на дворе. Солнышко, все окутанное мглой, стоит на небе красное, словно сердится на кого!..

Идет Хавроша – скорым-скоро; «хруп-хруп» – похрупывает мерзлый снег под валенками, а думы Хаврошины так сами на крыльях ее и несут. Вышла за околицу, спустилась к реке тихо-тихо, кругом мертво...

Беги, Хавроша, беги, касатка, не то смерзнешь, такая-сякая!.. Студено!.. Руки-то коченеют, под кацавейку мороз набирается, и нос вишенкой горит. Вошла Хавроша в лес, устала, запыхалась. Да слава Богу, вон в стороне стоит елочка, какую ей надо: кудревастенякая, высокононькая, аккуратная такая!.. Достала Хавроша топор и полезла по сугробам к елочке. Ноги вязнут в снегу: не то что по пояс, а по горло Хавроша в сугроб ушла. Да ничего, выкарабкалась!..

Ох, только уж вот этот мороз!.. Скрючил он пальцы у Хавроши – не разогнешь; топор не удержишь в руках, а не то что рубить... Стала Хавроша на пальцы дуть, да мороз дух захватывает, все в ней стынет!.. Даже заплакала Хавроша.

Чу!.. Скрипят полозья, лошадь фыркает!.. Никак, едет кто!..

Ободрилась Хавроша, оглянулась и видит, что точно кто-то едет, да никак свой...

– Дядя Андрей!.. Андре-ей!..

На дороге за елями остановились розвальни, и вся лохматая, словно обсахаренная, лошаденка дымилась от пара... Бородатый, рыжий мужик сошел с саней и оглянулся...

– Хаврошка?.. Да как ты сюда попала?..

– Да я за елкой!.. А ты в город?..

– В город и есть!..

– Сруби, дядя Андрей, елку-то... В город свезем. Ишь, тетка сказывала, господам они нужны... Деньги платят...

Мужик почесал затылок и сказал:

– А что, братец ты мой, и то!.. И тебе срублю, и себе пяток возьму... Продадим и то... Ступай, ложись в сани-то, прикройся веретьем, а я, дай срок, нарублю...

Нарубили елок, навязали и поехали.

– А что, братец ты мой, – сказал Андрей, – кабы не случай, смерзла бы в лесу ни за грош! Либо заяц бы тебя залягал!.. Ишь, востроносая, что удумала!..

4

Шумно, людно на базаре. Скоро святки!.. Живо раскупили у дяди Андрея целый воз елок. Осталась только Хаврошина елка. Жаль Хавроше елку продавать. А дядя Андрей ворчит:

– Что ж мне, с тобой до ночи на морозе-то мерзнуть?.. Продавай, что ли, пора...

В это время мимо проходила какая-то барыня с девочкой.

– Что стоит елка?.. – спросила барыня.

– Три рубля, – пролепетала Хавроша.

– Да ты с ума сошла! – вскрикнула барыня. – Вся-то ей цена 25 копеек.

Дяде Андрею даже обидно стало.

– Э-эх, барыня!.. – сказал он горько. – Оно точно, елка ничего не стоит, да девчонка-то вся смерзла, на морозе-то стоя; а дома-то у нее мать больна, и праздник нонче!..

Барыня быстро достала три рубля и сунула их Хавроше... Вечер. Тускло чадит лампочка в Ариной избенке. Тетка Варвара сидит за столом и ужинает. Арина, еще слабая от болезни, встала и прибирает посуду.

– Сердце-то не на месте, – говорит она, – и где это Хавроша запропала!..

В это время под окнами с надворья завизжали полозья; послышались глухие голоса... Собака залаяла. Кто-то стукнул в окно, и Варвара, кряхтя и ворча, пошла отпирать ворота... Дверь с визгом распахнулась, клуб пара вырвался из избы...

– Хавроша!..

– Вот тебе пропащая твоя!.. – проворчала тетка Варвара, вешая шубу на гвоздь. – Ишь, в городе побывала... ну и шустрая же!.. Ты послушай, чудес-то каких она натворила!..

На другой день был сочельник. В деревне все знали, что наделала Хаврошка, и об этом только и говору было.

А в сумерки тетка Варвара, весь день сидевшая у окна туча-тучей, окликнула сестру и сказала ей:

– Слышь ты, сестра... Одолела, значит, меня Хаврошка твоя... Вот что!.. Да... Хотела я в монастырь пристроиться; ну, так что вижу, Господь мне указал, чтобы вас, значит, не покидать... Да... Ну, и останусь я жить у вас, и там что насчет денег, все это можно. А только ты-то уж меня при старости корми, пой!.. Одолела меня девчонка твоя!.. И шустрая же, сейчас помереть...

Арина чуть не до земли поклонилась сестре и только всего и сказала:

– Благослови тебя Бог, сестрица... Вместе и жить станем, вместе и к Господу Богу пойдём!..

1914–1916 (?)

Морис Карем (1899–1978)

Перед Рождеством

«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!» —
«Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить Младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»

Перевод Валентина Берестова

Ясли

Ясли, – так мечтал один ребенок, —
Можно склеить из цветных картонок,
Сделать из бумаги золотой
Пастухов с рождественской звездой.

Ослик, вол – какая красота! —
Встанут рядом с яслями Христа.
Вот они – в одеждах позолоченных
Три царя из дивных стран восточных.

По пустыне в ожиданье чуда
Их везут послушные верблюды.
А Христос-младенец? В этот час
Он в сердцах у каждого у нас!

Перевод Валентина Берестова

Колыбельная елочке

Спи, елочка-деточка, под пенью метели.
Я снегом пушистым тебя уберу.
Усни на коленях у матушки-ели,
Такая зеленая в белом бору.

Усни и не слушай ты всякого вздора,
Ни ветра, ни зверя, ни птиц, никого!
Как будто возьмут нашу елочку скоро
И в дом увезут, чтоб встречать Рождество.

Нет, в чан с оторочкой из старой бумаги
Тебя не поставят у всех на виду.
Не будешь держать ты гирлянды и флаги,
Игрушки и свечи, шары и звезду.

Нет, спрячешь ты зайньку – длинные ушки,
Тебя разукрасят метель и мороз,
И вспыхнет звезда у тебя на макушке
В тот час, как родился Младенец Христос.

Перевод Валентина Берестова

Анатоль Франс (1844–1924) Новогодний подарок мадемуазель де Дусин

Утром 1 января добрый г-н Шантерель вышел пешком из своего особняка в предместье Сен-Марсель. Кровь плохо согревала его, двигался он с трудом, и ему стоило немалых усилий идти в такую холодную погоду по улицам, покрытым скользким талым снегом. В порыве самоубийства он уже давно отказался от кареты, так как после болезни стал серьезно беспокоиться о спасении своей души. Он жил уединенно, вдали от общества и друзей, и бывал только у племянницы, семилетней мадемуазель де Дусин.

Опираясь на палку, он не без труда добрался до улицы Сент-Оноре и вошел в лавку г-жи Пенсон, известную под названием «Корзина цветов». Там было выставлено такое множество детских игрушек – подарков к наступающему 1896 году, что посетители с трудом пробирались среди всех этих танцующих и пьющих вино человечков-автоматов, поющих на ветвях птичек, домиков с восковыми фигурками внутри, солдатиков в белых и голубых мундирах, выстроенных в боевом порядке, и кукол, одни из которых были в нарядах знатных дам, а другие в платье служанок, ибо неравенство, установленное на земле самим Господом Богом, царило и в этом игрушечном мире.

Господин Шантерель остановил свой выбор на кукле, одетой, как принцесса Савойская в день ее прибытия во Францию 4 ноября. Пышно причесанная и украшенная лентами, она была наряжена в плотно облегающий, шитый золотом корсаж, парчовую юбку и накидку с жемчужными застежками.

Господин Шантерель улыбнулся при мысли о том, в какой восторг эта красавица кукла приведет мадемуазель де Дусин, и когда г-жа Пенсон подала ему принцессу Савойскую, завернутую в шелковую бумагу, его лицо, побледневшее от постов, изможденное болезнью и удрученное постоянным страхом перед загробной карой, на мгновение озарилось чисто земной радостью.

Он учтиво поблагодарил г-жу Пенсон, взял принцессу под мышку и, волоча ногу, направился туда, где, как он знал, мадемуазель де Дусин уже проснулась, но не встает, ожидая его прихода. На углу улицы Сухого Дерева он встретил г-на Спона, огромный нос которого свешивался чуть ли не до самого кружевного жабо.

– Добрый день, господин Спон, – приветствовал его г-н Шантерель. – Поздравляю вас с Новым годом и молю Бога, чтобы все ваши желания исполнились.

– О сударь, подумайте, что вы говорите! – воскликнул г-н Спон. – Ведь нередко Господь внимает нашим желаниям лишь для того, чтобы покарать нас. *Et tribuit eis petitionem eorum*¹.

– Совершенно справедливо, – ответил г-н Шантерель. – Мы не всегда умеем распознать, что для нас благо. Я сам тому живой пример. Сперва я счел болезнь, которой страдаю вот уже два года, большим злом; впоследствии же я понял, что это – великое благо, ибо она побудила меня отказаться от той греховной жизни, которую я вел, растрачивая время на всевозможные развлечения. Эта болезнь, повредившая мне ноги и помутившая голову, была на самом деле знаком великой милости, которую мне ниспослал Господь. Но не соблаговолите ли вы, сударь, проводить меня до квартала Руль, куда я спешу с новогодним подарком для моей племянницы, мадемуазель де Дусин.

При этих словах г-н Спон воздел руки к небу и вскричал:

¹ И исполнил Он просьбу их (*лат.*).

– Как! Вас ли я слышу, господин Шантерель? Нет, это скорее слова вольнодумца! Возможно ли, сударь: вы вели такую праведную и уединенную жизнь и вдруг предали мирским порокам?

– Что вы! Я и не думал этого делать, – задрожав, ответил г-н Шантерель. – Но прошу вас, объяснитесь. Неужели подарить куклу мадемуазель де Дусин – такой уж большой грех?

– Тягчайший, – сказал г-н Спон. – Ведь то, что вы собираетесь подарить сегодня этому невинному ребенку, должно скорее именоваться сатанинским идолом, нежели куклой. Неужели вам неизвестно, что обычай делать новогодние подарки есть омерзительное и преступное суеверие, унаследованное от язычников?

– Я этого не знал, – возразил г-н Шантерель.

– Так знайте же, – продолжал г-н Спон, – что этот обычай ведется от римлян, которые видели во всяком начале нечто божественное, а потому обожествляли и начало года. Так что тот, кто поступает, как они, превращается в идолопоклонника. Вы, сударь мой, делаете новогодние подарки подобно почитателям бога Януса². Тогда уж заодно посвящайте, как они, первый день каждого месяца Юноне³.

Господин Шантерель, который едва держался на ногах, попросил г-на Спона дать ему руку. Дорóгой г-н Спон снова заговорил:

– Неужели из-за того только, что астрологи положили считать первое января началом года, вы должны в этот день делать подарки? И что вас заставляет именно сегодня воскрешать в душе друзей нежное чувство к вам? Разве эта нежность угасла к концу года? Да и может ли быть вам дорого чувство такой нежности, которую надо оживлять льстивыми словами и подарками?

– Сударь, – ответил добрый г-н Шантерель, опираясь на руку г-на Спона и силясь приспособить свои нетвердые шаги к стремительной походке спутника, – сударь, до болезни я был жалким грешником и думал лишь о том, чтобы учтиво обходиться с друзьями и вести себя как подобает человеку чести. Провидению угодно было извлечь меня из этой бездны; с тех пор как я обратился на путь истины, я во всем руководствуюсь советами моего духовника. Но я поступил легкомысленно, не спросив его мнения о новогодних подарках. И то, что говорите мне вы, сударь, человек столь сведущий в делах добронравия и веры, повергает меня в совершенное смущение.

– Сейчас я действительно приведу вас в смущение, – подхватил г-н Спон, – но при этом и просвещу вас – не своим слабым разумением, конечно, а словами великого ученого и светоча знания. Присядьте на эту тумбу.

И, подтолкнув г-на Шантереля к каким-то воротам, в углу которых тот кое-как устроился, г-н Спон достал из кармана книжечку в пергаментном переплете, раскрыл ее, полистал и, отыскав нужное место, стал громко читать, окруженный сбежавшимися трубочистами, горничными и поварятами, которых привлекли раскаты его голоса:

– «Все мы, ужасающиеся еврейским обрядам и находящие странными и нелепыми их субботы, новолуния и другие празднества, некогда угодные Богу, – все мы тем не менее свыклись с сатурналиями⁴ и январскими календами⁵, с матроналиями⁶ и торжествами в день солнцеворота. Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления; повсюду стоит шум игрищ и пиров. Язычники и те ревностнее блюдут свою веру, ибо они остерегаются участ-

² *Янус* – у древних римлян бог всякого начала, управлявший движением времени. Ему был посвящен первый месяц года, названный в его честь январем.

³ *Юнона* – у древних римлян покровительница женщины в браке.

⁴ *Сатурналии* – у древних римлян декабрьский праздник в честь Сатурна, покровителя земледелия.

⁵ *Календы* – в древнеримском календаре название первого дня каждого месяца.

⁶ *Матроналии* – празднества в Древнем Риме в честь богини Юноны, которые праздновались замужними женщинами (матронами) ежегодно 1 марта.

воват в наших празднествах из боязни прослыть христианами; мы же не страшимся прослыть язычниками, сохраняя их праздники». Слышите? – добавил г-н Спон. – Так говорит сам Тертуллиан⁷, указуя из недр Африки, насколько не подобают вам эдакие поступки. Он вопиет: «Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления! Вы справляете языческие праздники!» Я не имею чести знать вашего духовника, сударь мой, но я содрогаюсь при мысли о том одиночестве, в котором он вас оставил. Уверены ли вы хоть в том, что в смертный час, когда вы предстанете перед Господом, ваш духовник будет рядом с вами, чтобы принять на себя грехи, в которые вы впали по его небрежению?

Сказав все это, г-н Спон спрятал книжку в карман и с разгневанным видом удалился в сопровождении изумленных трубочистов и поварят, державшихся на некотором расстоянии от него.

Добрый г-н Шантерель остался у ворот наедине с принцессой Савойской и, нарисовав себе картину вечных адских мук, на которые его обрекло намерение подарить куклу мадемуазель де Дусин, своей племяннице, принялся размышлять о неисповедимых тайнах веры. Ноги, которыми он уже давно владел с трудом, теперь совсем отказывались ему повиноваться, и он чувствовал себя настолько несчастным, насколько может им быть в нашем мире человек, исполненный самых благих намерений.

Он уже несколько минут в полном отчаянии сидел на тумбе, как вдруг какой-то капуцин⁸ подошел к нему и сказал:

– Сударь, не подадите ли вы сколько-нибудь во имя Божие на новогодние подарки меньшей братии?

– Как! Отец мой, что вы говорите? – воскликнул г-н Шантерель. – Вы, монах, просите подаяния на новогодние подарки?

– Сударь, – возразил ему капуцин, – святой Франциск⁹ по доброте своей пожелал, чтобы и его дети радовались в простоте сердечной. Пожертвуйте сегодня что-нибудь на добрый ужин капуцинам, чтобы они потом бодро и радостно переносили пост и воздержание в течение всего года, исключая, разумеется, воскресные дни и праздники.

Господин Шантерель изумленно посмотрел на монаха:

– Да разве вы не боитесь, отец мой, что новогодним подарком можно погубить душу?

– Конечно, нет.

– Но ведь этот обычай идет от язычников!

– И у язычников бывали хорошие обычаи. Господь иногда озарял светом своим мрак язычества. Но, сударь, если вы отказываете в новогодних подарках вам, то не откажите в них бедным детям. Мы ведь воспитываем подкидышей. На ваше жертвование я куплю им всем по бумажной мельнице и прянику. Быть может, они будут вам обязаны единственной счастливой минутой во всей своей жизни, потому что на земле им уготовано не много радости. Их смех донесется до неба. А когда дети смеются, они славят Господа.

Господин Шантерель положил свой довольно увесистый кошелек в руку минорита¹⁰ и поднялся с тумбы, шепча слова, которые только что услышал: «Когда дети смеются, они славят Господа».

А затем, с просветленной душой, он окрепшим шагом направился с принцессой Савойской под мышкой к мадемуазель де Дусин, своей племяннице.

1908

⁷ Тертуллиан (160–240) – христианский писатель родом из Карфагена.

⁸ Капуцины – католический монашеский орден, ответвление ордена францисканцев.

⁹ Франциск Ассизский (1182–1226) – католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена францисканцев.

¹⁰ Минорит – (меньший брат) монах ордена францисканцев.

Изабелла Гриневская (1854–1942)

Звезда *Рождественская песнь*

На широком небосводе,
В звездном ярком хороводе,
Светит дивная звезда.
Всюду луч она заронит,
Где людское горе стонет, —
В села, рощи, города.
Луч доходит до светлицы
И крестьянки, и царицы,
И до птичьего гнезда.
Он вскользнет и в дом богатый,
И не минет бедной хаты
Луч волшебный никогда.
Всюду ярче радость блещет,
Где тот звездный луч трепещет,
И не страшна там беда,
Где засветится звезда.

Зинаида Гиппиус (1869–1945)

Белое

Рождество, праздник детский, белый,
Когда счастливы самые несчастные...
Господи! Наша ли душа хотела,
Чтобы запылали зори красные?

Ты взыщешь, Господи, но с нас ли, с нас ли?
Звезда Вифлеемская за дымами алыми...
И мы не знаем, где Царские ясли,
Но все же идем ногами усталыми.

Мир на земле, в человеках благоволение...
Боже, прими нашу мольбу несмелую:
Дай земле Твоей умиренье,
Дай побеждающей одежду белую...

Второе Рождество

Белый праздник – рождается предвечное Слово,
белый праздник идет, и снова —
вместо елочной восковой свечи
бродят белые прожекторов лучи,
мерцают сизые стальные мечи
вместо елочной восковой свечи.
Вместо ангельского обещанья,
пропеллера вражьего жужжанья,
подземное страданье ожиданья,
вместо ангельского обещанья.

Но вихрям, огню и мечу
покориться навсегда не могу,
я храню восковую свечу,
я снова ее зажгу
и буду молиться снова:
родись, предвечное Слово!
затеpli тишину земную,
обними землю родную...

Николай Телешов (1867–1957)

Елка Митрича

Из цикла «Переселенцы»

I

Был канун Рождества...

Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышьяная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:

– Ну, баба, какую я штуку надумал!

Аграфене было некогда; с засученными рукавами

и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

– Слышь, баба, – повторил Митрич. – Говорю, какую я штуку надумал!

– Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! – ответила жена, указывая на углы. – Вишь, пауков развели. Пошел бы да смёл!

Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:

– Паутина не уйдет; смету... А ты слышь-ка, баба, что я надумал-то!

– Ну?

– Вот те и ну! Ты слушай.

Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.

– Я говорю, баба, вот что, – начал он бойко, но сейчас же запнулся. – Я говорю, праздник подходит... И для всех он праздник, все ему радуются... Правильно, баба?

– Ну?

– Ну, вот я и говорю: все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут... У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет – правильно?

– Так что ж? – равнодушно сказала старуха.

– А то, – вздохнул снова Митрич, – что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника... Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого... Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты... ни матери, ни отца, ни родных... Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое – всякому человеку радость, а сироте – ничего!

– Тебя, видно, не переслушаешь, – махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал.

– Надумал я, баба, вот что, – говорил он, улыбаясь, – надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал... И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко... срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрой, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул губами:

– Каков я-то?

Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.

– Нет, каков, баба, умысел, а?

– А ну те с твоим умыслом! – крикнула она на мужа. – Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.

– Ладно, баба! – проговорил он загадочно. – Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю – и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..

– Видно, делать-то тебе нечего.

– Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою – и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!

И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.

II

По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы... С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич.

Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.

– Вот уж непорядок так непорядок! – рассуждал Митрич, пожимая плечами. – Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.

– Ты чей такой?

Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.

– Как тебя звать?

– Фомка.

– Откуда? Как деревню твою называют?

Ребенок не знал.

– Ну, отца как зовут?

– Тятка.

– Знаю, что тятка... А имя-то у него есть? Ну, к примеру, Петров, или Сидоров, или там Голубев, Касаткин? Как звать-то его?

– Тятка.

Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.

– Родителей-то, знать, потерял, дурачок? – говорил он, глядя ребенка по голове. – А ты кто такой? – обращался он к другому ребенку. – Где твой отец?

– Помер.

– Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?

– Померла.

– Тоже померла?

Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами. У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.

«Божьи дети!» – называл их Митрич.

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у богатых людей. «Сказано, сделаю – и сделаю!» – думал он, идя по двору. – Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»

Ш

Прежде всего он отправился к церковному старосте.

– Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.

– Что такое?

– Прикажете выдать горсточку огарков... самых махоньких... Потому как сироты... ни отца, ни матери... Я, стало быть, сторож переселенский... Восемь сироток осталось... Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.

– На что тебе огарки?

– Удовольствие хочется сделать... Елку зажечь, вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.

– Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? – проговорил он, продолжая качать головой. – Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?

– Ведь огарочки, Никита Назарыч...

– Ступай, ступай! – махнул рукою староста. – И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:

– Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе... Пусть бы порадовались... ни отца, стало быть, ни матери... Прямо сказать: Божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:

– Какой же тут грех?

– А Никиту Назарыча слышал? – спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. – То-то и дело!

Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:

– Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!

– А каких тебе огарков-то?

– Да все одно... хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери... Прямо – ничьи ребятишки!

Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя.

Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки.

Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник. «Ну, теперь ладно! – весело думал Митрич. – Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей, – рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, – стало быть, восемь конфет...»

Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.

– Ладно, баба! – подумал он вслух. – Ты у меня посмотришь! – И, засмеявшись, пошел навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:

– Ну, публика, здравствуй. С праздником!

В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.

– Ах вы, публика-публика!.. – шептал он, утирая глаза и улыбаясь. – Ах вы, публика этакая!

На душе у него было и грустно, и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.

IV

Был ясный морозный полдень.

С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным, солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал.

Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя – водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.

– Ну, публика, теперь смирно! – говорил он, устанавливая елку. – Вот маленько оттает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:

– Что? Тесно стало?.. Небось, думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну-ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..

Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели... Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза. Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.

– Ну-ка, ты, кавалер! – обратился он к мальчику, стоя на табуретке. – Давай-ка сюда свечку... Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.

– И я! И я! – послышались голоса.

– Ну и ты, – согласился Митрич. – Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое... А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите... Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?

Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:

– А ведь... жидко, публика?

Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:

– Жидко, братцы!

Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.

– Гм! – рассуждал он, бродя по двору. – Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.

– А что? – сказал он себе. – Правильно будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»...

– Детишки они малые... ничего не смыслят, – рассуждал старик. – Ну, стало быть, будем мы их забавлять... А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!

И недолго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.

– Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! – весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. – Ай да затейник!

V

Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленным воском, смолой и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:

– Правильно, публика!.. Правильно!

Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:

Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

– Ну, баба, теперь закусим! – сказал Митрич, кладя гармонику. – Публика, смирно!..

Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы и наконец скомандовал:

– Публика! Подходи в очередь!

Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.

– Каков, баба, я-то? – спрашивал он, указывая на детей. – Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:

Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник.

– Публика! – воскликнул он наконец. – Свечи догорают... Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:

– Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать правильно!..

Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «Божьих детей».

Елку Митрича никто из них не забудет!

1897

Николай Заболоцкий (1903–1958)

Бегство в Египет

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень Распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

1955

Саша Чёрный (1880–1932)

Рождественское

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос...

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...

Присмиривший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал.

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!» —
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..»

1920

Николай Вагнер (1829–1907)

Новый год

I

С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.

Он родился ровно в полночь! Когда старый год – седой, дряхлый старикашка – укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.

И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»

Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:

– С Новым годом! С Новым годом!

А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях, когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, – тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатаются кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года.

Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бровными воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью – в ногу: раз, два, раз, два – бегут, маршируют бравые солдатики.

Вот между народа бежит и старушонка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши – бегут, бегут, скрип, скрип, скрип.

– Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Бежим, matka, бежим!

– Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй, не стой!.. Господи Иисусе! Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..

И Гришутка торопится, пытит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип... От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жметса, ёжится. Похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и – побежит, побежит!..

– Мороз лютой, погоняй, не стой!..

Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика.

И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой.

Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом.

Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича.

И на этот раз швейцар доложил – и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку.

Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман.

Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав.

– А это, мама, лестница? – лепечет он чуть слышно.

– Лестница, касатик, – шепчет мама.

– А куда она идет?

– Наверх, в комнаты.

– Они тоже большущие?

– Большущие, касатик, большущие.

– А на лестнице это сады рассажены?

– Сады, родименький, сады.

– А между ними что за куклы большущие, белые стоят?

– Это для красы, лапушка, для красы.

– А это что, вон там, светлое такое – большущее?

– Это зеркало, касатик, зеркало.

– А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька?

– Это фантал, касатик, фантал... А ты нишкни, лапушка, сейчас придут... нехорошо болтать-то...

И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающей чашу фонтана.

«Вот бы туда посмотреть! – думал он. – В те большущие комнаты, что наверху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет?..»

И он бежал дорогой и все придумывал, воображая, – какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.